Полилог/Polylogos. 2013-2023

ISSN 2587-7011

URL - <http://polylogos-journal.ru>

Все права защищены

№ 4 Том 5. 2021

Две разные годовщины: осмысляя 30-летие бархатных революций и крушения СССР

Летняков Денис Эдуардович

Институт философии РАН

Москва, Российская Федерация, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

Аннотация

Статья представляет собой рецензию на две коллективные монографии, каждая из которых стала результатом международного академического проекта. Первая – это сборник, посвященный 30-летию антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе (The Long 1989. Decades of Global Revolution. Ed. by P.H. Kosicki and K. Kunakhovich. Budapest-NY: CEU Press, 2019. 284 p.). Вторая книга, выход которой был приурочен к 30-летию распада Советского Союза, реализована под эгидой Экспертной группы «Европейский диалог» (Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя / Под ред. К. Рогова. М.: НЛЮ, 2021. 448 с.). Ключевой вывод, который можно сделать по прочтении этих работ, заключается в том, что постсоветское пространство во многом остается terra incognita для академического сообщества. Если вектор движения восточноевропейских стран бывшего советского блока в целом не вызывает у исследователей сомнений – это (пусть и не беспроблемная) интеграция в состав Запада, то академический консенсус в отношении постсоветских государств заключается лишь в том, что применяемые к ним сразу после 1991 г. теоретические схемы оказались нерабочими. Поиск нового концептуального языка продолжается.

Ключевые слова: бархатные революции, распад СССР, постсоветское пространство, посткоммунизм, транзитология, авторитаризм

Дата публикации: 26.12.2021

Ссылка для цитирования:

Летняков Д. Э. Две разные годовщины: осмысляя 30-летие бархатных революций и крушения СССР // Полилог/Polylogos. – 2021. – Т. 5. – № 4.

URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110018062-0-1/>. DOI:

10.18254/S258770110018062-0

¹ Сразу после событий 1989–1991 гг. постсоветское пространство, в которое принято включать 12 государств бывшего СССР (за исключением стран Балтии), как казалось, двигалось в том же направлении, что и остальной посткоммунистический мир, – от однопартийной диктатуры и плановой экономики к демократии и рынку. Например, правительство Ельцина и Гайдара, начиная рыночные реформы, ориентировалось на опыт польской «шоковой терапии»; кроме того, во всех странах бывшего СССР появились избранные президенты, парламенты и демократические конституции. Правда, кое-где по несговорчивому парламенту стреляли из танков, а многие постсоветские лидеры быстро начали переписывать под себя Основной закон страны (в Киргизии это впервые случилось уже в 1994 г., в Узбекистане – в 1995 г., в Беларуси – в 1996 г.), но все это поначалу рассматривалось как проявление «детских болезней» демократии, как естественные трудности первого этапа посткоммунистического транзита.

² Однако уже к началу 2000 гг. прежний оптимистический консенсус в отношении всего посткоммунистического мира постепенно стал сменяться такой же общей убежденностью в том, что траектории развития стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и постсоветских государств существенно разошлись. При значительной разнице между условной Болгарией и Словенией, с одной стороны, и Молдовой и Туркменией, с другой, страны ЦВЕ стали рассматриваться как совершившие переход к демократии и рыночной экономике (признанием этого стала их интеграция в ЕС и НАТО), а постсоветские государства – как провалившие эту миссию.

³ Изменилось ли что-то сегодня, по прошествии еще двадцати лет? С одной стороны, приход к власти правых популистов в Венгрии и Польше теперь уже заставляет ряд наблюдателей давать более сдержанные оценки итогам посткоммунистического транзита в ЦВЕ¹. С другой стороны, очевидно, что к двум юбилейным датам – к 30-летию бархатных революций и к аналогичной годовщине с момента распада СССР – академическое сообщество подошло все-таки с разным настроением. Революции 1989 г. в ЦВЕ продолжают рассматриваться по большей части в триумфалистском свете – как события, позволившие странам региона «вернуться в Европу», освободиться от коммунистических диктатур. Что касается постсоветского пространства, то здесь главными чувствами оказываются пессимизм и некоторая растерянность, ведь вопрос о том, какая концептуальная рамка для описания социально-политических процессов в государствах бывшего СССР должна прийти на смену транзитологии, по-прежнему остается открытым.

4 В настоящей статье я обращаюсь к двум коллективным монографиям, которые вышли в свет к указанным годовщинам (1989–2019 и 1991–2021). Обе они написаны международным коллективом авторов, обе стали результатом многолетних исследовательских проектов. Эти книги, будучи любопытны сами по себе, служат также хорошей иллюстрацией той разнице в подходах к посткоммунистическому транзиту в ЦВЕ и бывшем СССР, о которой шла речь выше.

5 «Долгий 1989-й год»

6 Первый рецензируемый сборник, «Долгий 1989-й год. Десятилетия глобальной революции», был опубликован в 2019 г. в издательстве Центрально-Европейского университета. Книга предваряется цитатой из Ж. де Мэстра: «Долгое время мы совсем не понимали революции, свидетелями которой являемся: долгое время мы ее принимали за событие. Мы заблуждались: это эпоха». Собственно, задача показать, что бархатные революции не были одномоментным событием, но открыли собой целую эпоху («долгий 1989-й год»), и стала одной из ключевых для авторов. Сборник стремится вскрыть глобальное значение революций 1989 г., продемонстрировать их взаимосвязи, пересечения с политической и интеллектуальной жизнью разных регионов мира.

7 Транснациональному измерению бархатных революций посвящена, в частности, глава А. Гелке и Т. Джунса. В ней исследуется неочевидная, на первый взгляд, связь между крахом коммунизма и падением режима апартеида в ЮАР в 1994 г. Как показывают авторы, в ситуации серьезного снижения легитимности правящей Национальной партии, по мере того как появляются условия для проведения переговоров между властью и оппозицией, южноафриканские коммунисты (SACP – South African Communist Party) парадоксальным образом обращаются к опыту антикоммунистических революций в ЦВЕ. SACP перенимает тактику переговоров с властями по типу польского «круглого стола»; аналогичным образом заимствуется и тактика массовых протестов. Активисты SACP показательно называют ее «Лейпцигским путем» – в честь протестов в Лейпциге (ГДР) в октябре 1989 г., которые вынудили в итоге Э. Хонеккера уйти с поста партийного лидера. Но бархатные революции сыграли свою роль в падении режима апартеида еще и с другой точки зрения: начавшийся развал советского блока ослабил поддержку властей ЮАР со стороны Запада, который ранее опасался, что на смену Национальной партии придет альянс левых сил (коммунистов и АНК). Теперь же необходимость защищать расистов у власти по геополитическим соображениям отпала сама собой.

8 В свою очередь, М. Димитров показывает, что события 1989–1991 гг. оказывали не только эмпапсирующий эффект на другие страны, но могли также способствовать авторитарной консолидации режимов за пределами советского блока. Конкретно речь идет о реакции китайских властей на антикоммунистические революции в СССР и ЦВЕ. С началом перестройки и последующей либерализации в странах Варшавского договора официальный Пекин не просто пристально следит за происходящим там (в т.ч. через китайских послов в соответствующих странах), но и стремится извлечь для себя какие-то уроки. В частности, лидер КПК Дэн Сяопин предупреждает соратников от уступок

протестующим студентам на площади Тяньаньмэнь, ведь «уступки в Польше привели [только] к дальнейшим уступкам» (р. 78). В итоге антиправительственное выступление в Пекине было жестоко подавлено.

⁹ Внимательно анализируя кризис советской системы и распад СССР, китайский правящий класс пришел к выводу о том, что главные ошибки Горбачева – это инициирование им политической либерализации, выведенный в публичное поле раскол внутри партии, проведение альтернативных выборов, неспособность провести экономические реформы, равно как и справиться с межнациональными проблемами. Поэтому уже на XIV Съезде КПК в октябре 1992 г. ее руководство заявляет о нацеленности на построение «социалистической рыночной экономики», параллельно блокирует любые публичные проявления межфракционной борьбы, допускает очень дозированную критику партии (скажем, разрешено освещать факты коррупции, но только на низовом уровне), параллельно с этим КПК выстраивает систему обратной связи с населением через письма и обращения граждан, а также начинает применять политику «кнута и пряника» в национальных регионах (Синьцзянь, Тибет) – например, сочетает увеличение трансфертов из центра с жестким преследованием активистов национальных движений и реализацией ассимиляционных мер. Вообще же кризису советской системы, отмечает Димитров, в Китае посвящены сотни книг, статей и других материалов – среди прочего, он упоминает документальный четырехчасовой фильм для членов КПК с говорящим названием «Будь бдителен в мирное время: исторические уроки крушения Советского Союза» (2006 г.), который был показан в партийных школах по всей стране.

¹⁰ Дж. Стаут рассматривает влияние идей М.Л. Кинга на концепцию «диалогической демократии» известного польского диссидента, участника «Солидарности» Адама Михника. Кинг выступает с идеей политического диалога во время борьбы за права чернокожих. Ключевой его тезис состоял в необходимости относиться к своим оппонентам как к партнерам, согражданам, каждый из которых имеет право действовать в соответствии со своими убеждениями и целями. В польских реалиях диалог мыслится Михником как нахождение общей платформы между светскими (левыми) и католическими интеллектуалами, которые вместе должны противостоять коммунистической диктатуре. В этой связи Михник отвергает «секуляризм» и «теократию» как две крайности. В первом случае «секуляристское» государство² отказывает церкви в праве быть услышанной, иметь свой голос в общественных дебатах. Во втором случае публичная сфера, напротив, монополизирована религиозной частью общества. Так или иначе, мы оказываемся в ситуации доминирования какой-то одной силы, что по своей сути не сильно отличается от коммунистической диктатуры. В новой Польше, по мысли Михника, и левые, и правые (и вообще все «люди доброй воли») должны стать частью «полиса» через институционализированный диалог в публичной сфере.

¹¹ Одна из распространенных претензий к антикоммунистическим революциям 1989–1991 гг. состоит в их интеллектуальном бесплодии³. Падение коммунизма не сопровождалось выдвижением какой-то великой социальной идеи вроде триады «свобода, равенство, братство», идеология бархатных революций строилась всего лишь на возвращении к либерально-капиталистической

«нормальности»⁴. Это дает повод многим усомниться в подлинной революционности тех событий. Р. Саква и вовсе назвал бархатные революции «антиреволюциями» – странными революциями, «реставраторскими» и «подражательными» по духу, которые просто стремились воплотить в своих обществах принципы, давно уже существовавшие по другую сторону «железного занавеса»⁵. Однако И. Рев в своей главе стремится доказать, что отсутствие новых социальных идей было не недостатком, а достоинством бархатных революций. У участников тех событий было отвращение ко всем «великим идеям» и социальным утопиям, а отказ от любых социальных экспериментов в пользу «либеральной демократии и верховенства права» стал их осознанным моральным выбором. Не случайно многие борцы с коммунизмом в ЦВЕ сами себя не хотели называть революционерами – уже знакомый нам А. Михник в 1976 г. писал, что «борьба за реформу и эволюцию... – единственный курс, который приемлем для восточноевропейских диссидентов» (р. 141).

¹² Почему так получилось? Прежде всего, Рев констатирует, что все радикальные проекты социального переустройства к концу 1980 гг. очевидным образом провалились. Людям хотелось не экспериментов, не новой социальной утопии, а «нормальности», понимаемой как совокупность личных свобод, и достойной материальной жизни – всего того, что отсутствовало в советском варианте социализма. Многие диссиденты, которые успели проделать сложный путь интеллектуальной эволюции от неомарксистов к либералам, воспринимали коммунистическую систему как тоталитарную (с начала 1970-х гг. среди интеллигенции в ЦВЕ широко ходили самиздатовские копии «Истоков тоталитаризма» Х. Арендт и «Дороги к рабству» Ф. Хайека). Поэтому борьба с этой системой мыслилась в первую очередь как борьба за соблюдение прав и свобод человека, что возможно только в ситуации верховенства права (rule of law).

¹³ Рев также отмечает, что важным автором для многих интеллектуалов, участвовавших в бархатных революциях, был философ Дж. Ролз со своей «Теорией справедливости» (1971). Круглые столы, на которых оппозиция ведет переговоры с коммунистами, само торжество т.н. «конституционной» политики⁶ трактуется читателями Ролза как пример «первоначальной позиции» (“original position”). Так называется гипотетическая ситуация заключения общественного договора, в которой никто еще наверняка не знает своего будущего положения. Согласно Ролзу, «хорошо организованное общество» не должно иметь какой-то одной «всеобъемлющей» религиозной, моральной или философской доктрины, в этом смысле лозунги верховенства права и соблюдения прав человека подкупали своей универсальностью (применимостью к любой стране) и минималистичностью (они задавали лишь самые общие рамки социально-политического порядка). При этом Рев полагает, что сам по себе процесс мирного, ненасильственного воплощения идей либеральной демократии был принципиально новым опытом для ЦВЕ, ведь страны этого региона никогда не жили в условиях либерально-демократических режимов. А потому «героический акт неэкспериментирования с опасными идеями» можно считать бесспорной заслугой лидеров бархатных революций (р. 158).

¹⁴ С. Хелфонт анализирует интеллектуальное влияние 1989 г. на последующие десятилетия. Отправной точкой его исследования становится,

пожалуй, самый известный текст, написанный на фоне крушения коммунизма, – работа Ф. Фукуямы «Конец истории». Хелфонт показывает, как триумфалистское представление о либеральной демократии как о «конечной точке идеологической эволюции человечества» (формулировка самого Фукуямы) сформировало целое поколение западных политиков и экспертов, включая архитекторов американской идеи демократизации «Большого Ближнего Востока». Для неоконсерваторов, определявших внешнюю политику президента Буша-мл. после 9/11, победа США в холодной войне, падение просоветских режимов и т.н. «третья волна демократизации» (середина 1970 – начало 1990 гг.) стали доказательством «универсализации западной либеральной демократии». Отсюда призыв неоконсерваторов к тому, чтобы Америка использовала свою мощь для установления либерального порядка во всем мире.

¹⁵ Однако взгляд на авторитарные режимы как на атавизм и вера в неизбежное торжество демократии заставляли политиков на Западе порой принимать неверные решения. Примером этого для Хелфонта становится вторжение западной коалиции в Ирак в 2003 г., поддержанное между прочим и самим Фукуямой. В годы, предшествовавшие американской операции «Шок и трепет», было выпущено множество книг, доказывавших, что саддамовский режим на самом деле неорганичен политической культуре Ирака и его истории, что есть «другой Ирак», состоящий из местных интеллектуалов, представителей протогражданских организаций, которые наверняка поддержат внешние усилия по демократизации страны. Тем не менее реальность оказалась не столь оптимистичной. Провал планов по демократизации Ирака, неудачи «арабской весны», в ходе которых осуществлялись попытки демократизировать ближневосточные режимы изнутри, а также ситуации, когда на демократических выборах в регионе к власти приходили исламисты⁷, повысили акции реалистов и сторонников постколониальной теории на интеллектуальном рынке. В результате с идеей глобальной демократизации начал все активнее конкурировать тезис о том, что либеральная демократия является продуктом исключительно западной модернити, который нельзя импортировать в другие регионы мира. Получается, что идея о «конце истории» как столкновении разного рода «измов» спровоцировала новую «битву идей», опровергнув тем самым саму себя.

¹⁶ Последний текст, который хочется упомянуть в этом обзоре, – глава Валерии Кораблевой, посвященная украинскому Евромайдану. Ключевой тезис автора состоит в том, что украинские события 2013–2014 гг. нуждаются в серьезной реконцептуализации. Майдан обычно видится исследователями либо в оптике геополитики (в контексте борьбы за Украину между Россией и ЕС), либо в западнцентристском свете (как начало транзита страны к *либеральной демократии*). Вторая трактовка доминирует и в оценке бархатных революций, что тоже неверно. На самом деле, полагает Кораблева, революции 1989 г. не были просто движением обществ ЦВЕ в сторону либерально-рыночной «нормальности»⁸. Протестующие в Праге или Берлине не имитировали западные практики, но выработали собственную «модель сопротивления», которая основывалась на гораздо более глубоком вовлечении людей в политику, чем предполагает представительная демократия; участники антикоммунистических революций делали акцент на активной роли гражданского общества, на ценностях

достоинства и солидарности, на самоорганизации и ненасильственном протесте. Тем самым восточноевропейские революции сделали *оригинальный вклад* в демократическую теорию и практику. Для анализа событий 1989 г. Кораблева предлагает пользоваться понятиями вроде радикальной демократии (Э. Лаклау и Ш. Муфф), гражданской демократии (П. Розанваллон), самодемократизирующегося гражданского общества (А. Арато) и т.д. И сегодня, когда в мире все чаще говорят об упадке либеральной демократии, наследие 1989 г. может помочь оживить демократический проект на самом Западе.

¹⁷ Возвращаясь к Евромайдану, автор предлагает рассматривать его в этом же ключе – как событие, в ходе которого удалось реализовать интересный демократический эксперимент. Последний включал в себя формирование сетей солидарности и низового протеста без явных лидеров, структурирование «горизонтального множества» (92% участников Майдана, согласно опросам, не принадлежали ни к какому организованному движению, 20% пришли на Майдан в одиночку (р. 244)), максимально инклюзивные основания для участия (на Майдане нашлось место всему спектру политических сил – от крайне левых до крайне правых, как и представителям конфессиональных и этнических меньшинств). Участники «революции достоинства», согласно Кораблевой, воспроизвели таким образом «этос 1989 г.» с его солидарностью и гражданским коллективным действием, направленным против государственной машины.

¹⁸ **«Демонтаж коммунизма»**

¹⁹ Вторая рассматриваемая книга представляет собой сборник под редакцией Кирилла Рогова «Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя», подготовленный Экспертной группой «Европейский диалог». Несмотря на то, что заголовок вроде бы предполагает оптику, направленную на весь посткоммунистический мир, практически все 15 глав этой книги посвящены преимущественно постсоветскому пространству. В коллективной монографии можно найти множество сюжетов – от обсуждения концепции «советского человека» Ю. Левады, разговора о ценностях российского общества и его политической культуре (тексты Л. Гудкова, С. Грина, В. Магуна и М. Руднева) до анализа дизайна советского этно-федерализма и его влияния на постсоветские реалии (главы Г. Хейла и Н. Митрохина). Я тем не менее воздержусь от подробного разбора всех глав и сосредоточусь на тех из них, которые непосредственно связаны с концептуальными вопросами изучения постсоветских трансформаций.

²⁰ Во введении к сборнику К. Рогов размышляет о трех этапах в осмыслении посткоммунизма: (1) 1990-е гг.: доминирование транзитологических схем; (2) 2000-е гг.: разочарование в транзитологии как универсальной рамке для понимания посткоммунизма, деление стран бывшего Восточного блока на «отличников», которые сумели совершить транзит, и «отстающих» (2000-е гг.). Ключевой вопрос этого этапа: «почему у одних стран получилось, а у других не получилось?»; (3) 2010-е гг. – наст. вр.: «реверсивный тренд» даже в отношении бывших «отличников» (Польша, Венгрия), ощущение жителями ЦВЕ своей периферийности в рамках ЕС, рост евроскептицизма и правого популизма в регионе (к последнему тренду присоединяется и бывшая ГДР, если вспомнить успех на ее территории партии «Альтернатива для Германии»). О постсоветском

пространстве и говорить нечего – авторитарные режимы здесь все больше приобретают отдельные черты диктатуры; международные рейтинги не находят в бывшем СССР ни одной электоральной демократии. Пессимизм редактора в целом разделяют почти все участники сборника.

²¹ Единственная глава книги, посвященная исключительно ЦВЕ, принадлежит перу И. Крастева. Он начинает свой текст с уже дежурной критики фукуямовского тезиса о «конце истории», отмечая, что после 1989 г. вместо триумфа либеральной демократии мы все увидели торжество ее имитации. Крушение коммунизма дало начало «Эпохе подражания», когда в разных частях мира, в т.ч. в ЦВЕ, политические элиты принялись копировать западную общественную модель. В этом Крастев видит главную причину нынешнего авторитарного отката, роста правых настроений в ЦВЕ. Настойчиво проводимый в последние 30 лет тезис о том, что альтернативы либеральной демократии просто не существует, вызывает обратную реакцию, ведь в такой ситуации народы бывшего Восточного блока неизбежно оказываются в положении учеников, задача которых – просто хорошо выучить урок, заданный им в Брюсселе. Логично, что «антилиберальная контрреволюция», символом которой выступают политики вроде В. Орбана и Я. Качиньского, выступает за «отказ от капитуляции перед либеральным Западом» (стр. 50). Крастев цитирует в этой связи одну из приближенных к Орбану венгерских интеллектуалок М. Шмидт: «Мы не хотим копировать то, что делают немцы, или то, что делают французы... Мы хотим придерживаться своего собственного образа жизни» (стр. 49). Массовая поддержка таких лозунгов кажется поразительной, ведь идеология бархатных революций 1989 г. как раз и заключалась в том, чтобы стать «неотличимыми от Запада», превратиться в «нормальные» страны. Однако, полагает Крастев, рост социального неравенства в ходе посткоммунистического транзита, формирование «капитализма для своих», массовый отток населения из региона (с рекордными 27% потери населения с 1989 г. тут лидирует Латвия) и другие издержки перехода к рынку, помноженные на тяжелейший экономический кризис 2008 г., который продемонстрировал уязвимость западной модели, поколебали уверенность восточноевропейских обществ в правильности выбранного когда-то пути.

²² Продолжает тему несбывшихся надежд текст А. Мельвиля. Известный российский исследователь, сам в свое время много писавший в русле транзитологии, рассуждает об иллюзиях, которые были характерны для этого методологического подхода 30 лет назад. Несколько огрубляя, можно сказать, что транзитология исходила из идеи о неотвратимости падения автократий в историческом масштабе, полагая, что главное в этом процессе – это наличие воли к переменам в правящем классе, выбор правильного «институционального дизайна», заключение элитного «пакта» о необходимости движения к демократии. Короче говоря, успех гарантирован, надо только сильно захотеть. Мельвиль ставит задачу разоблачить некоторые из «теоретических и политических ожиданий», которые в итоге оказались несостоятельными.

²³ Прежде всего, это убежденность в том, что демократию можно построить «везде и всегда». Опыт постсоветских трансформаций показал, что благоприятные структурные условия вовсе не гарантия успешной демократизации (см. пример России). Кроме того, выяснилось, что и на «актеров» не стоит возлагать слишком

большие надежды – постсоветские элиты, выигравшие от демонтажа коммунизма, хотели по большей части не движения вперед и успешного завершения транзита, а сохранения существующего статус-кво в виде имитационной демократии и «капитализма для своих».

²⁴ Второе заблуждение можно выразить формулой «социально-экономическая модернизация = демократизация». Долгое время считалось, что рост благосостояния будет непременно способствовать общественному запросу на демократию (т.н. «гипотеза Липсета»). В России же мы видим, что сам по себе средний класс (при всей условности применения этого термина к отечественным реалиям) не обязательно предъявляет такой запрос, поскольку его благосостояние по большей части зависит от перераспределения бюджетных денег, что встраивает его в систему патронажных отношений с государством.

²⁵ Следующий ложный тезис заключается в том, что главным фактором при транзите является правильный институциональный дизайн политической системы. В действительности на постсоветском пространстве мы имеем дело с процессом «перерождения» новых, формально демократических институтов. Партии, парламент, система разделения властей, конкурентные выборы действительно были созданы, но в большинстве постсоветских стран они работают не так, как в либеральных демократиях. Скажем, параллельно возникают неформальные институты, которые находятся в тени формальных, но оказываются намного влиятельнее последних. Здесь можно вспомнить кейс Молдовы, где олигарх В. Плахотнюк через разного рода коррупционные схемы и патрон-клиентские сети долгое время оставался ключевым игроком в молдавской политике.

²⁶ Еще одна иллюзия романтической эпохи «конца истории» – убежденность в том, что мы являемся свидетелями «заката авторитаризма» в мировом масштабе. Как показали прошедшие годы, вместо глобальной демократизации мы увидели появление новых разновидностей авторитаризма (конкурентный/электоральный авторитаризм), которые находятся сегодня в центре внимания политической науки.

²⁷ Один из сюжетов Мельвиля – дискуссию о том, что важнее при переходе к демократии, «акторы» или «структуры», – развивает в своей главе другой известный российский политолог В. Гельман. После того как «неоправданный оптимизм» начала 1990-х гг. в отношении политических перспектив постсоветских стран сменился «неоправданным пессимизмом», популярны стали «структурные», а не «агентские» объяснения политических процессов в бывшем СССР. Иначе говоря, объективные факторы, которые сложнее изменить (политическая культура, историческое наследие, слабость международных связей с либеральными демократиями Запада, патрон-клиентский характер отношений внутри элиты), стали рассматриваться как более важные в сравнении с поведением отдельных политических игроков, с анализом их «стимулов и интересов» (стр. 117). Гельман ставит перед собой задачу реабилитировать «акторный» подход, проблематизировать детерминистские представления об историческом наследии, показать, что помимо структурных факторов есть множество привходящих обстоятельств – ошибки автократов при выстраивании «выигрышной коалиции» (как у В. Януковича в 2014 г.), «проблемы с получением и адекватным восприятием информации, типичные для авторитарных режимов» (стр. 148–149),

и пр. Все эти факторы могут подталкивать постсоветских лидеров к совершению серьезных ошибок, которые ведут к «крушению авторитарного равновесия». Поэтому существование персоналистских автократий на постсоветском пространстве не является фатальным. С другой стороны, было бы неправильно, подобно многим транзитологам начала 1990-х гг., говорить о неотвратимости установления демократии в этом регионе. Падение автократов всегда представляет собой лишь *развилку*, после которой политическое развитие страны может сдвинуться в сторону политического плюрализма или же снова пойти по привычной модели «повелителя мух» (Гельман, ссылаясь на сюжет знаменитого романа У. Голдинга, обозначает так ситуацию «одностороннего захвата власти наиболее сильными игроками» в условиях новой политической реальности (с. 125)). Отчасти следуя в русле этой же полемики об «актерах» и «структурах», К. Рогов в своей главе обращается к известной статье М. Макфолла «Четвертая волна перехода к демократии и авторитаризму» (2002 г.). В ней Макфол одним из первых показал, что пути транзита посткоммунистических обществ оказываются более разнообразными, чем предполагалось ранее, – это переход не только к демократии, но и к новому типу авторитаризма, отличному от позднесоветского. Общая идея Макфолла, которую развивает Рогов, заключается в следующем: «базовый расклад сил» на первых альтернативных выборах в Верховные Советы союзных республик (1990 г.) в значительной мере определил и траекторию дальнейшего развития этих политий. Если на выборах 1990 г. победила оппозиция («демократическая коалиция»), то в дальнейшем эта страна, уже став независимой, осуществляла успешный транзит к демократии (страны Балтии). Если в Верховном Совете по итогам выборов доминировали партаппаратчики (90–100% мест), то в постсоветский период здесь сформировался устойчивый авторитаризм (страны Центральной Азии, Беларусь, Азербайджан). Очевидное исключение тут – Киргизия с ее достаточно плюралистичной на фоне соседей политической системой. Если же явная победа на выборах 1990 г. не досталась ни партаппарату, ни оппозиции (последняя получила 25–55% мест), то затем возникали «частично демократические режимы» (Украина, Армения, Молдова, Россия). Тут опять-таки из общего тренда выбивается Россия, которая после 2000 г. пошла по пути формирования консолидированного авторитаризма.

28 Коль скоро траектории политического развития сформировались еще до распада СССР, имеет смысл говорить о каких-то более фундаментальных факторах, нежели действия политических игроков после 1991 г. или постсоветский институциональный дизайн. Какие это факторы? С точки зрения Рогова, стоит принимать во внимание долю городского населения в каждой республике, структуру занятости (промышленность – сельское хозяйство, доля высококвалифицированной рабочей силы), уровень социально-экономического развития, «вес “патрональных” структур власти» (допустим, в Средней Азии с ее клановой системой и традицией многолетнего руководства одним человеком были выстроены достаточно прочные системы патронажа, замыкавшиеся на первое лицо в республике). Получается, что за «общим “советским фасадом”» были выстроены различные типы региональной политической власти. Соответственно, где-то старая элита была способна нейтрализовать эффекты демократической и националистической мобилизации второй половины 1980-х гг., а где-то нет. Всего же в период перестройки и распада СССР было три ключевых фактора

политической динамики: (1) степень консолидации правящей региональной элиты; (2) «спрос на демократическую вестернизацию» со стороны населения; (3) «потенциал этнонациональной мобилизации», который позволял контрэлитам вступить в легальную борьбу за власть⁹. В итоге в элитах сложились либо демократические коалиции, либо авторитарные коалиции вокруг одного лидера, либо же имел место неустойчивый политический баланс.

²⁹ Текст А. Рябова в сборнике – один из тех, которые посвящены поиску какого-то нового концептуального языка в условиях банкротства транзитологии. В частности, Рябов предлагает исследователям сделать акцент на «патронажно-клиентелистских отношениях», на которых зиждется политический процесс в странах бывшего СССР. Это отношения внутри элиты, которые носят «непубличный характер» (земляческие, дружественные, родственные связи) и которые превращают постсоветскую политику в борьбу кланов и элитных групп за контроль над ресурсами. Одна из основ патрон-клиентских отношений – институт власти-собственности, в рамках которого «нет разделения власти и собственности, а права частной собственности не гарантированы» (стр. 189). Именно этот институт порождает многие негативные явления в постсоветских обществах: системную коррупцию, имитационность всех идеологий и отсутствие внятной стратегии национального развития (элитные фракции борются друг с другом не за разное видение будущего своих обществ, а за доступ к финансовым ресурсам), провал почти всех реформ (ведь общее благо оказывается незначимым для «рентоориентированных» представителей элиты, которые планируют и реализуют эти реформы), а также неудачи демократизации (инкумбенты не спешат расставаться с властью, ведь потеря власти влечет за собой и потерю собственности).

³⁰ Тему выработки новой методологической парадигмы продолжает венгерский исследователь Б. Мадьяр, который успел стать инициатором ряда важных международных проектов в этом направлении¹⁰. По мнению Мадьяра, «гибридология», которая пришла на смену транзитологии в 2000-е гг., все равно во многом сохранила старую оптику, стремясь исследовать политические процессы в посткоммунистических государствах в дихотомии «демократия – диктатура». Кроме того, в центре внимания исследователей по-прежнему оказывается формальная сторона политических систем – партии, выборы, конституции. Но хотя посткоммунистические страны и заимствуют у либеральных демократий институты, функционируют они все-таки по своей особой логике, и об этом не стоит забывать.

³¹ Дело в том, что в посткоммунистических (и особенно в постсоветских) странах три сферы социальной деятельности – политическая, экономическая и общественная – либо вообще не разделены, либо разграничены недостаточно последовательно. Скажем, «при либеральной демократии существует различие между обязанностью политика по отношению к государству и по отношению к своим родным» (стр. 233), тогда как постсоветский политик склонен рассматривать свою властную позицию как способ облагодетельствовать себя и собственное окружение. Но если разделения между указанными сферами нет, то «акторы будут управлять формальными институтами в соответствии с неформальными нормами» (стр. 234). Именно поэтому после 1989–91 гг., когда

был начат переход к демократии, «жесткие структуры» (“stubborn structures”) старой системы просто адаптировались к новым институциональным формам. Отсюда такие явления, как «неформальный патронализм», слияние власти и собственности.

³² Патрональные режимы тоже могут различаться внутри себя – скажем, они могут быть «однопирамидальными» (с одной доминирующей сетью патрон-клиентских отношений, в рамках которых происходит «обмен конкретными вознаграждениями и наказаниями через цепочки реального знакомства» (с. 242)) или «мультипирамидальные» (когда существует ряд конкурирующих патрон-клиентских сетей с примерно равным влиянием). Но эти режимы в любом случае действуют в соответствии с иной логикой, чем западные политии, – например, патрональная политика предполагает, что предприниматель может стать политиком (олигархи), а политик – предпринимателем («полигархи» – люди «с формальной политической властью и неформальным экономическим влиянием» (с. 247)). Поэтому нужна новая типология посткоммунистических режимов, которая бы принимала во внимание эту особенность. Например, их можно классифицировать так: патрональная демократия (Молдова, Украина), патрональная автократия (суперпрезидентские республики бывшего СССР), диктатура с использованием рынка (Китай), консервативная автократия (Польша). В этом контексте и «цветные революции» нужно рассматривать не в романтическом ключе – как попытку установить либеральные демократии, освободиться от авторитарного влияния Москвы, – а в контексте присущих такого рода политиям «режимных циклов». Последние связаны с борьбой патрон-клиентских сетей за ресурсы – например, правящая сеть может попытаться монополизировать свое влияние, сдвинуться в сторону автократии, что встречает резкое противодействие конкурирующих патрон-клиентских сетей. Проблема заключается в том, что после победы «цветной революции» меняется не суть проводимой политики, а конфигурация сетей патронажа (какие-то влиятельные фигуры оказываются отодвинутыми от власти и богатства, другие же, наоборот, получают новые возможности). Реальные перемены на постсоветском пространстве начнутся тогда, когда режимная динамика будет сопровождаться «антипатрональной» трансформацией.

³³ **Выводы**

³⁴ Рассмотренные в статье монографии отражают два разных подхода, сложившихся к настоящему моменту в академии, к посткоммунистическим трансформациям в ЦВЕ и на постсоветском пространстве. Можно сказать, что в целом вектор движения стран ЦВЕ в последние 30 лет понятен исследователям. Исходной точкой этого движения стали массовые антикоммунистические революции, а результатом – интеграция (пусть не без срывов, проблем и разочарований) в состав западного мира, точнее, его периферии. Как было видно из обзора «Долгого 1989-го года», многие авторы сохраняют триумфалистское, романтическое видение бархатных революций как события, воплотившего в жизнь принципы демократии, солидарности и открытого общества. Замечу, что позитивные оценки в отношении произошедших после 1989 г. изменений фиксируются и в ходе социологических опросов, проведенных к 30-летию падения

коммунизма в странах ЦВЕ (на общем фоне выделяются лишь жители Болгарии, настроенные гораздо более пессимистично)¹¹.

³⁵ С постсоветским пространством в этом смысле все гораздо сложнее. Можно ли считать, что демонтаж коммунизма произошел в результате революции или же развал советской системы необходимо описывать каким-то иным термином? Допустимо ли рассматривать страны бывшего СССР сквозь призму постколониальной теории? Как лучше характеризовать политические режимы, возникшие в новых независимых государствах? Возможно ли вообще вписать постсоветские трансформации в какую-то общую концептуальную рамку, учитывая, что некоторые государства бывшего СССР (Закавказье, Центральная Азия) по целому ряду параметров фактически превратились в часть глобального Юга¹²? Дискуссии по всем этим вопросам далеки от своего завершения (как и достижение прочного общественного согласия в отношении постсоветского развития).

³⁶ Если же говорить о политическом аспекте постсоветских трансформаций, то исследовательский консенсус в этом вопросе заключается лишь в том, что концептуальные схемы, которые применялись к странам бывшего СССР сразу после 1991 г., оказались нерабочими. Прежде всего речь идет о транзитологии, которая была склонна рассматривать постсоветские режимы как переходные от диктатуры к демократии. Как можно заметить, сейчас все большее влияние получает концепция патрональной политики, которая концентрируется на анализе патрон-клиентских отношений и неформальных институтов в постсоветских странах. В рамках этой парадигмы написаны две главы в сборнике «Демонтаж коммунизма» (тексты А. Рябова и Б. Мадьяра), можно вспомнить и множество других аналогичных работ, опубликованных в последние годы¹³. В патрональном подходе, безусловно, есть свои сильные стороны – во всяком случае, он подталкивает исследователей к тому, чтобы сосредоточиться не на внешних, иногда чисто декоративных, проявлениях постсоветской политики, но анализировать ее сущностные механизмы, незаметные в первом приближении. Однако подобная установка порой заставляет ученого опираться на трудноверифицируемый материал (неформальные связи внутри элиты, коррупционные механизмы и пр.), тем самым ставя под сомнение универсальный принцип любой науки – наблюдать наблюдаемое. Так что главный вывод для исследователей постсоветских политических трансформаций можно, пожалуй, сформулировать так: поиск адекватного концептуального языка продолжается.

Примечания:

1. См., например: Крастев И., Холмс С. Свет, обманувший надежды. Почему Запад проигрывает борьбу за демократию. М.: Альпина Паблишер, 2020.

2. Михник отличает «секулярное» и «секуляристское» государство. Первое предполагает всего лишь религиозную нейтральность этого института, второе – агрессивное наступление на религию.

3. Kapustin B. Violence and Post-Communism // *Theorising Social Change in Post-Soviet Countries: Critical Approaches* / Ed. by B. Sanghera, T. Yarkova, S. Amsler. Oxford: Peter Lang., 2007. P. 26–27.

4. Kumar K. The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy // *Theory and Society*. 1992. Vol. 21. No. 3. P. 316.

5. Саква Р. Конец эпохи революций: антиреволюционные революции 1989–1991 годов // Полис. Политические исследования. 1998. № 5.
6. Согласно Р. Дарендорфу, в отличие от «нормальной» политики (политики как администрирования, направленной на текущее управление обществом), «конституционная» политика имеет дело «со структурой социального порядка», с выработкой общих принципов жизни общества и правил игры. Такая политика доминирует в революционные эпохи. См.: Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. М.: Ad Marginem, 1998. С. 200.
7. Характерная история произошла в 2006 г. на палестинских территориях. *Под давлением США* прошли демократические выборы в Палестинский законодательный совет, на которых победили представители ХАМАС – организации, которую сами американцы считают террористической.
8. Отчасти такое упрощенное восприятие, по мнению украинской исследовательницы, является следствием западного ориентализма в отношении ЦВЕ – убежденности в том, что этот периферийный регион обречен на подражание «настоящей» Европе и не в состоянии произвести чего-либо оригинального в политическом смысле.
9. Опираясь на исследования М. Бессингера (Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. Cambridge: Cambridge University Press, 2002), Рогов вводит «индекс массовой мобилизации». Он включает в себя два показателя: общее число участников массовых акций и общее количество акций за определенный промежуток времени. Индекс варьируется от 11,46 в Грузии до 0,00 в Туркмении (РСФСР находился по этому показателю примерно посередине – там он был равен 3,47).
10. **Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes / Ed. by B. Magiar. Budapest-NY: CEU Press, 2019; The Anatomy of Post-Communist Regimes. A Conceptual Framework / Ed. by B. Magiar, B. Madlovics. Budapest-NY: CEU Press, 2020.**
11. European Public Opinion Three Decades After the Fall of Communism // Pew Research Center. 2019, 15 October. URL: [>>>>](#) (accessed at 17.10.2021).
12. Hohmann S., Mouradian C., Serrano S., Thorez J. (eds.). Development in Central Asia and the Caucasus: Migration, Democratization and Inequality in the Post-Soviet Era. L.; N.Y.: IB Tauris, 2014.
13. См., например: Hale H. Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, New York: Cambridge University Press, 2015; Aliyev H. The Effects of the Saakashvili Era Reforms on Informal Practices in the Republic of Georgia // Studies of Transition States and Societies. 2014. No. 1 (6). P. 19–33; Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные записки. 2007. № 6. С. 8–28; Шкель С.Н. Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов в Евразии // Полития. 2016. № 4 (83). С. 94–107.
-

Библиография:

1. Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. М.: Ad Marginem, 1998. 271 с.
2. Крастев И., Холмс С. Свет, обманувший надежды. Почему Запад проигрывает борьбу за демократию. М.: Альпина Паблишер, 2020. 360 с.
3. Саква Р. Конец эпохи революций: антиреволюционные революции 1989–1991 годов // Полис. Политические исследования. 1998. № 5. С. 23–28.
4. Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные записки. 2007. № 6. С. 8–28.
5. Шкель С.Н. Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов в Евразии // Полития. 2016. № 4 (83). С. 94–107.
6. Aliyev H. The Effects of the Saakashvili Era Reforms on Informal Practices in the Republic of Georgia // Studies of Transition States and Societies. 2014. No. 1 (6). P. 19–33.

7. Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 503 p.
8. Hale H. Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, New York: Cambridge University Press, 2015. 542 p.
9. Hohmann S., Mouradian C., Serrano S., Thorez J. (eds.). Development in Central Asia and the Caucasus: Migration, Democratization and Inequality in the Post-Soviet Era. L.; N.Y.: IB Tauris, 2014. 399 p.
10. Kapustin B. Violence and Post-Communism // Theorising Social Change in Post-Soviet Countries: Critical Approaches / Ed. by B. Sanghera, T. Yarkova, S. Amsler. Oxford: Peter Lang, 2007. P. 23–53.
11. Kumar K. The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy // Theory and Society. 1992. Vol. 21. No. 3. P. 309–356.
12. Magiar B. (ed.) Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest; NY: CEU Press, 2019. 675 p.
13. Magiar B., Madlovics B. (eds.) The Anatomy of Post-Communist Regimes. A Conceptual Framework. Budapest; NY: CEU Press, 2020. 839 p.

Two different anniversaries: comprehending three decades of the Velvet revolutions and of the collapse of the USSR

Denis Letnyakov

RAS Institute of Philosophy

12/1 Goncharnaya Str., Moscow 109240, Russian Federation

Abstract

The article is a review of two multi-author books, each of which is a result of an international academic project. The first one is a collected volume dedicated to the 30th anniversary of the Velvet revolutions in Central and Eastern Europe (The Long 1989. Decades of Global Revolution. Ed. by P.H. Kosicki and K. Kunakhovich. Budapest-NY: CEU Press, 2019. 284 pp.). The second book, dedicated to the 30th anniversary of the collapse of the Soviet Union, was published under the auspices of the European Dialogue Expert Group (Dismantling of Communism. Thirty years later / Edited by K. Rogov. Moscow: NLO Publ., 2021. 448 pp.). The key point of the article is that post-Soviet countries remain largely 'terra incognita' for the academy. Whereas vector of development of Eastern European countries does not raise doubts among the researchers – it is a case of integration into the West (albeit not a problem-free), the academic consensus regarding the post-Soviet states is only that previous concepts and approaches are out of work. Search for a new conceptual language is at play.

Keywords: the Velvet revolutions, collapse of the USSR, the FSU countries, post-Communism, transitology, authoritarianism

Date of publication: 26.12.2021

Citation link:

Letnyakov D. Two different anniversaries: comprehending three decades of the Velvet revolutions and of the collapse of the USSR // Polylogos. – 2021. – V. 5. – № 4.
URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110018062-0-1/>. DOI: 10.18254/S258770110018062-0